

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в «Вехах» — и возмущённо отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина «Вех» не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий. Вскоре и название книги, эксплуатированное другою группою авторов («Смена вех») узко политических интересов и невысокого уровня, стало смешиваться, тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных поколений, тем более — сама книга из казённых советских библиотек. Но и за 60 лет не померкли её свидетельства: «Вехи» и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет, кажется, утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем её с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом — и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина «интеллигенция» пока, для первой главы, понимая её: «вся масса тех, кто так себя называет», интеллигент — «всякий, кто требует считать себя таковым») почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями «Вех». Историческая оглядка всегда даёт и понимание лучшее.

Однако, нисколько не гонясь сохранить тут цельность веховского рассмотрения, мы позволим себе, со служебною целью сегодняшнего разбора, суммировать и перегруппировать суждения «Вех» в такие четыре класса:

а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие, или слабо продолженные, или диаметрально обёрнутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас — значительная сращённость, через служебное положение.) Принципиальная напряжённая противопоставленность государству. (Сейчас — только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле — верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением «общественности», недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; «соблазн Великого Инквизитора»: да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохранюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне — прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем «смирение». (Сейчас подчинились, и до раболепства.) Мечтательность, прекраснодушие, недостаточное чувство действительности. (Теперь — трезвое, утилитарное понимание её.) Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряжённый атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы религии, притом — окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряжённость атеизма, но он всё так же разлит по массе образованного слоя — уже

традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и «человек выше всего».) Инертность мысли; слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоценным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда — анонимным тайным выходом в Самиздат.)

«Вехи» интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли её пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы «Вех» упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе как:

б) *Достоинства предреволюционной интеллигенции.*

Всеобщий поиск целостного мирозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Нынче распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности — эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и соблазна. (Всё — не о нас, всё наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он — обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это — не мы! Только слово общее «интеллигенция» осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если «Вехи» применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы ещё более поразимся этому по группе черт, выставленных «Вехами» как:

в) *Тогдашние недостатки, по сегодняшней нашей переполосовке чуть ли не достоинства.*

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология героического экстаза, укреплённая государственными преследованиями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь — к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере — русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но — не всё духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодня.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живёт в ожидании социального чуда (тогда — много и делали для него, теперь — укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Всё зло — от внешнего неустройства, и потому требуются только внешние реформы. За всё происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной «принципиальности» — прямолинейных отвлечённых суждений. Надменное противопоставление себя — «обывате-

лям». Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Всё так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского («Дневник писателя»):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так ещё много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней — если бы сама интеллигенция ещё оставалась быть...

2

Интеллигенция! Каков точно её объём, где её границы? Одно из излюбленных понятий в русских спорах, а употребляется весьма поразному. При нечёткости термина многое обесценивается в выводах. Авторы «Вех» определяли интеллигенцию не по степени и не по роду образованности, а по идеологии — как некий новый *орден*, безрелигиозно-гуманистический. Они очевидно не относили к интеллигенции инженеров и учёных математического и технического циклов. И интеллигенцию военную. И духовенство. Впрочем, и сама интеллигенция того времени, *собственно интеллигенция* (гуманитарная, общественная и революционная), тоже к себе не относилась всех их. Более того, в «Вехах» подразумевается, а у последователей «Вех» укореняется, что крупнейшие русские писатели и философы — Достоевский, Толстой, Вл. Соловьёв — тоже не принадлежали к интеллигенции! Для современного читателя это звучит диковато, а между тем в своё время состояло так, и расщелина была достаточно глубока. В Гоголе ценили обличение государственного строя и правящих классов. Но, как только он приступил к наиболее дорогим для себя духовным поискам, он был публицистически исхлёстан и отрешён от передовой общественности. В Толстом ценили те же разоблачения, ещё — вражду к церкви, к высшей философии и творчеству. Но его настойчивая мораль, призывы к опрощению, ко всеобщей доброте воспринимались снисходительно. «Реакционный» Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забит и забит в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава.

А между тем все не попавшие в собственно интеллигенцию — куда же должны были быть включены? А у них были свои характерные черты, иногда далеко не совпадавшие с теми, какие подытожены в «Вехах». Например, к интеллигенции технической относится лишь малая часть характеристик из «Вех». Не было в ней отделённости от национальной жизни, ни противопоставленности государству, ни фанатизма, ни революционизма, ни ведущей ненависти, ни слабого чувства действительности и т.д. и т.д.

Если принять определение интеллигенции этимологическое, от корня (*intelligere*: понимать, знать, мыслить, иметь понятие о чём-либо), то, очевидно, оно охватило бы во многом иной класс людей, чем те, кто в России рубежа двух веков присвоил себе это звание и в этом качестве рассмотрен в «Вехах».

Г.Федотов остроумно предлагал считать интеллигенцией специфическую группу, «объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

В. Даль определял интеллигенцию как «образованную, умственно развитую часть жителей», но вдумчиво отмечал, что «для *нравственного образования* у нас нет слова» — для того просвещения, которое «образует и ум, и сердце».

Были попытки строить определение интеллигенции на самодвижущей творческой силе, даже вопреки внешним обстоятельствам; на неподражательности образа мысли; на самостоятельной душевной жизни. Во всех этих поисках высшая затруднённость не в формулировке определения и не в характеристике реально существующей общественной группы, а в разности желаний: кого мы хотели бы видеть под именем интеллигенции.

Бердяев позже предлагал определение, альтернативное тому, какое рассмотрено в «Вехах»: интеллигенция как совокупность духовно избранных людей страны. То есть духовная элита, а не социальный слой.

После революции 1905—1907 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодёжи и медленного выделения ещё очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы «Вех» не вовсе были в тогдашней России одиночками. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам термин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила Первая Мировая война, затем стремительный ход революции. Чаще многих других произносилось в русском образованном классе слово «интеллигенция», — но так, за событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше — условий и времени было ещё меньше. 1917 год был идейным крахом «революционно-гуманистической» интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины, от партийного начётничества и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов «Вех» (ещё отдельно у С. Булгакова: «интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию»), интеллигенция оказалась не способна к этим действиям, сробела, запуталась, её партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскатать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять её обломками. (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался «народ — не такой», «народ обманул ожидания интеллигенции». Так в этом и состоял диагноз «Вех», что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако незнание — не оправдание. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в тёмной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей её русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции ещё в революционные 1918—1920 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжёлым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своём героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в Гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами.

Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако, отпустило осколкам русской интеллигенции ещё несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции — той, что осталась в СССР. Уцелевшие от Гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозой ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казённую идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться. То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложенная, быть может из первых виновниц русского падения, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массу

выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией припахнул соблазны: соблазн *понять Великую Закономерность*, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать *самим*, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закиснуть в своей «интеллигентской гнилости», но утопить своё «я» в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И ещё долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как заправдошные стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шёл в это «догонянье» Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально, однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загнипнотизированно, охотно дав себя загнипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодёжи: огненнокрыльями казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до Второй Мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я — в который раз и всё безуспешно — пытался вникнуть в мудрость «Капитала».)

В 20-е и 30-е годы усиленно менялся, расширялся и самый состав прежней интеллигенции, как она сама себя понимала и видела.

Первое естественное расширение было — на интеллигенцию техническую («спецы»). Впрочем, как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплетать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, — техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом.

Но были и другие формы расширения — и разложения! — прежнего состава интеллигенции, уверенно направляемые государственные процессы. Один — физическое прервание традиции интеллигентских семей: дети интеллигентов имели почти нулевые права на поступление в высшие учебные заведения (путь открывался лишь через личное подчинение и перерождение молодого человека: комсомол). Другой — спешное создание рабфаковской интеллигенции, при слабой научной подготовке, — «горячий» пролетарско-коммунистический поток. Третий — массовые аресты «вредителей». Этот удар пришёлся больше всего по интеллигенции технической: разгромив меньшую часть её, остальных смертельно напугать. Процессы шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства уже и для неё: так же покорно голосовать на митингах за любые требуемые казни; при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией Наук; уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросились бы поспешно-угодливо выпол-

нять*. Удар пришёлся не только по старой интеллигенции, но уже отчасти и по рабфаковской, он избирал по принципу непокорности, и так всё более пригибал оставшуюся массу. Четвёртый процесс — «нормальные» советские пополнения интеллигенции — кто прошёл всё своё 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею.

В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение «интеллигенции»: по государственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в *служащих*, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово «интеллигенция» было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через «творческие союзы» были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объёме, искажённом смысле и умалённом сознании. Когда же, с конца войны, слово «интеллигенция» восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мещанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со «служащими» (они — «рабочими» оставались), ни тем более с какой-то прогнившей «интеллигенцией», они отчётливо отгораживались как «пролетарская» кость. Но после войны, а особенно в 50-е, ещё более в 60-е годы, когда увяла и «пролетарская» терминология, всё более изменяясь на «советскую», а с другой стороны, и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, — правящий класс тоже допустил называть себя «интеллигенцией» (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и «интеллигенция» послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив чёткого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей стране теперь *весь образованный слой*, все, кто получил образование выше семи классов школы.

По словарю Даля, *образовать* в отличие от *просвещать* означает: придать лишь наружный лоск.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно или опрометчиво зовётся сейчас «интеллигенцией», называть *образованщиной*.

3

Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и мы дали себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе — протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: мы — другие!..

Некто Алтаев (псевдоним, статья «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» в № 97 «Вестника РСХД»), признавая это численное умножение, растворение интеллигенции и смыкание её с бюрократией, всё же ищет рычаг, которым бы отделить интеллигенцию от растворяющей массы. Он находит его в «родовом признаке» интеллиген-

* Эта угарная преданность государственным заказам очень нестеснительно выражена в недавней самиздатской публикации «Туполевская шарага», она не миновала и крупнейших фигур.

ции, якобы отличавшем её и до революции и сейчас, так что можно признать его за «определение» интеллигенции: что это «уникальная категория лиц», не повторявшаяся никогда ни в одной стране, живущая в «сознании коллективной отчуждённости» от «своей земли, своего народа и своей государственной власти». Но, не говоря об искусственности такого определения (и не такой уж уникальности ситуации), можно возразить, что дореволюционная интеллигенция (в «веховском» определении) именно сознания отчуждённости от своего *народа* не имела, напротив, уверена была в своём полновластии высказываться от его имени; а интеллигенция современная вовсе не отчуждена от современного *государства*: те, кто ощущают так — сами с собой или в узком кругу своих, зажато-тоскливо, обречённо, отданно, — не только *держат* государство всею своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие *душой* в обязательной общей лжи. Куда ж дальше? Ещё может быть можно остаться «отчуждённым», отдаваясь только телом, только мозгом, только специальными познаниями, — но не душой же! Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, — об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что «она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей *не с чем* было выступить. Коммунизм был её собственным детищем... в том числе и идеи террора... В её сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом», интеллигенция сама «причастна ко злу, к преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову». (И облегчило войти в систему лжи.) Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, — и без боя покорилась. И только ту утешку посасывала втихомолку, что «идеи революции были хороши, да извращены». И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отграниченные у Алтаева *шесть соблазнов* русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности).

Покорились — до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж как не кличка *образованщины* по справедливости остаётся нам? Тоскливое чувство отчуждённости от государства (годов лишь с 40-х), своего невольничьего состояния в чужих лапах — это не признак родовой, непрерывный, но зарождение нового протеста, зарождение раскаяния. И большинством же интеллигенции вполне сознаётся теперь — кем тревожно, кем равнодушно, кем высокомерно — отчуждение от нынешнего *народа*.

О том, как не размыться в образованщине, как отграничиться от неё и спасти понятие интеллигенции, много пишет и Г. Померанц (не псевдоним, лицо подлинное, востоковед, имеющий в Самиздате целый том философских эссе и публицистических статей): «самая здоровая часть современного общества», «другого такого прогрессивного слоя не найти»*. Но и он остаётся в смущении перед морем образованщины: «Понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни ещё не устоялась». (? — За 130 лет от Белинского и Грановского не устоялась? нет, после революционного потрясения.) Ему приходится выделять «лучшую часть интеллигенции», это «даже не прослойка, а кучка людей», «собственно интеллигентно лишь маленькое ядро интеллигенции», «узкий круг людей, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры», даже: «интеллигентность — это процесс»... Он предлагает вообще отказаться от очерчивания контура, границ, пределов интеллигенции, а представить себе как бы поле (в смысле

* Все цитаты из Померанца здесь и ниже — главным образом из статей «Человек ниоткуда» и «Квадрильон».

физики): центр излучения (самая малая кучка) — затем «слой одушевлённой интеллигенции» — дальше «неодушевлённая интеллигенция» (?), которая, однако, «развитее мещанства». (В старых вариантах той же самиздатской статьи Померанц делил интеллигенцию на «порядочную» и «непорядочную» с таким странным определением: «порядочные люди гадят ближнему лишь по необходимости, без удовольствия», а непорядочные, мол, с удовольствием, и в этом их различие!)

Правда, в защиту этого многомиллионного класса, на границе «неодушевлённости» и «мещанства», Померанц находит весьма сочувственные слова: о тяжести работы школьных педагогов, врачей общей медицинской сети и бухгалтеров — этих «грузчиков умственного труда». Но, оказывается, эта его настойчивая защита есть скорее нападение на «народ»: доказать, что искать ошибки в платёжной ведомости тяжелее, чем колхознице работать в задушливом птичнике.

Что искажённый труд и искалеченные люди — верно. Я и сам, достаточно поработав школьным преподавателем, могу горячо разделить эти слова и ещё добавить сюда много разрядов: техников-строителей, сельхозтехников, агрономов... Школьные учителя настолько задёрганные, заспешенные, униженные люди, да ещё и в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать собственное мнение о чём бы то ни было, даже находить и поглощать неповреждённую духовную пищу. И не от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так проигрывает в «одушевлённости» по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от нужды и бесправия.

Но оттого нисколько не меняется безнадежная картина расплывшейся образованщины, куда стандартным входом служит самое среднее образование.

4

Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии, весь ушёл в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной мебели (уж какую продают), в карты, домино, телевизоры и пьянку, — то на много ли выше поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккей по телевизору — тот же самый. Если на периферии образованщины колотьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре её (шестнадцать столиц и несколько закрытых городков) выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений — корыстной погоне за лучшими и большими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями (Померанц: «сервис — это компенсация за потерянные нервы»), а ещё более — заграничными командировками. (Вот поразила бы дореволюционная интеллигенция! Это же надо объяснить: впечатления, развлечения, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок... Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу.) Но более всего характеризуется интеллект центральной образованщины её жаждой наград, премий и званий, несравненных с теми, что дают рабочему классу и провинциальной образованщине, — и суммы премий выше, и какая звучность: «народный художник (артист и т.д.)... заслуженный деятель... лауреат...»! Для всего того не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризненность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно, или с трибуны, или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома.

Если это всё — «интеллигенция», то что же тогда «мещанство»?!

Люди, чьё имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж конечно ходили в интеллигентах, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам (вывоз древностей запрещён), вперемежку с простыми досками скола-

чивали их в нелепую «мебель» и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово — «интеллигенция»?.. Только таможенный запрет ещё удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые выставки устраиваются ныне в Европе — и не только государство продавало их туда...

Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов (душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью, деньги-то можно было отбирать в любой форме), осталось — редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители иные искренно верят своей Идеологии, многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее его основной деятельности.

Но — центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в «гневных» протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, ещё развивая и укрепляя её средствами своей элоквенции и стиля! На ком же узнано, с кого ж и списано Оруэллом *двоумыслие*, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоумыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приёмом.

О, мы жаждем свободы, мы заклеим (шёпотом) всякого, кто усумнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране! (Пожалуй, так: не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию «интеллигентного ядра», обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному.) Однако этой свободы мы ждём как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции — поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казённую потерять), — центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! — приготовлены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, — естественно, каждый день приходится причинять зло некоторым («порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости»). Но эти некоторые — сами виноваты: зачем так резко-неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о *коллективе*? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров — и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Челнов (Вестник РСХД, № 97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, «при котором прямизна кажется нелепой позой».

Но главный оправдательный аргумент — д е т и! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для *отвлечённого* принципа правды?! Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, — и в голову не приходит родителям, самим обеднённым на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучёб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши — надежда России, кто оборачивается лицом к правде, — обычно проклинаются и даже преследуются своими разъярёнными состоятельными родителями.

И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы

достаточно была информирована, знала, что делается в мире, могла знать, что делается в стране, но — отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, — подавляли гнётом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казённой лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И всё же у людей остаётся выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на корочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция т а к а я — она была бы непобедима.

А есть ещё особый разряд — людей именитых, так недостижимо, так прочно поставивших имя своё, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в после-сталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. *Они*-то — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши — «где?», подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас? (Сокоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душой, с тёмной гибельной душой XX века. Он ли её, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда — если! — наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, — и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских учёных прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчёты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться «московские звезды» образованщины и средний слой «остепенённых». Права Лидия Чуковская: *кого-то* от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не *этих* всех — то окончательно потерял смысл слова.

О, появились бесстрашные! — выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце — о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И — отказался: *к чему это? ни к чему не приведёт...* Обычная достойная отговорка образованщины.

Чего заслуживаем. На каком дне прозябаем.

Когда сверху дёргали верёвку, что можно посмелей (1956, 1962), мы малость разминали затекшую спину. Когда дёргали «цыц!» (1957, 1963), мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный: 1967–68, Самиздат пошёл как половодье, множились имена, новые имена в протестах, казалось — ещё немножко, ещё чуть-чуть — и начнём дышать. И — много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Нескольких исключили из партии, нескольких из союзов да семь дюжин «подписантов» вызвали на *собеседование* в партком. И бледные и потерянные возвращались с «собеседований».

И самое важное открытие своё, условие своего дыхания, возрождения и мысли — Самиздат — образованщина поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образованцы за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки? отправляли в провинцию?.. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в тёмном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с пятого на десятое и тут же возвращать обожжёнными руками.

Да, в тех преследованиях прояснело, проступило несомненное *интеллигентное ядро*: кто продолжал собою рисковать и жертвовать — открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое «ядро» открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны — бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность («т а м буду спокойно развивать русскую культуру»). Затем — спасая тех, кто остаётся («т а м будем лучше защищать ваши права здесь»). Наконец же — и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось «ядро русской интеллигенции», которое может существовать и без России...

5

Да всё бы простилось нам, вызывало бы только сочувствие — и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям: мы — жертвы истории, произошедшей до нас, мы уже родились — в ней, и хлебнули её довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться.

Но нет! В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы «осознать себя духовно, не бросая своего НИИ» (Померанц), — как будто «осознать себя духовно» есть задача уютного размышления, а не строгого искусства, а не беспощадного испытания. Мы несколько не отрелись от заносчивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духовного, происходящего в стране и человечестве: давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Ещё в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вечером произносится вершинная оценка: что из поступков и кому из деятелей «простит» или «не простит интеллигенция».

Наблюдая жалкое реальное поведение центров образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя: каждый — сам себя, друзей и сослуживцев. Всё большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, несколько не смущает образованца.

Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель её Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: «сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира»!.. Горький смех... По пройденному русскому опыту

перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...

В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в Самиздат статьёй Семёна Телегина (разумеется, псевдоним) «Как быть?». Тон — бодрого напористого всезнайки, быстро на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде «руссиш культуриш», то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши («человеческий свиначик»), то — пафосными зачинами: «А задумывались ли вы, читатель?». «Творческое начало, источник этики и гуманизма», автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает «трибуны стадиона», худшим — «в сектанты».

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчётливо: «прогрессивные интеллигенты» (состоящие в партии, ибо сживаются на партсобраниях и руководят «отдельными участками работы»), «мы — цвет мыслящей России», кто «создаёт свой круг возрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях». «Представьте себе класс высокообразованных людей, вооружённых идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а не... пахать землю.»

Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: «Мы — люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация морали коснулась и нас». Речь идёт о *троедушки*, о тройной морали — «для себя, для общества, для государства». Но является ли это пороком? Весёлый Телегин считает: «в этом наша победа! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и думали так же подчинённо, как говорим вслух и работаем, а мы думаем — бесстрашно! «мы отстаили свою *внутреннюю свободу*!» (Изумишься: если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, — что же тогда внутреннее рабство? Мы бы всё-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить и действовать, не завися от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет.)

Именно в статье Телегина «цвет мыслящей России» адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогачительно для нас познакомимся с этими взглядами.

«Под режимом угнетения» будто бы выросла «новая культура», «система отношений и система мышления», это «колосс на двух ногах — искусства и науки». В области искусства? — гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки? — «могучая методология физики», а из неё — «целая жизненная философия», вот уже «десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертёжных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии Наук». «Здесь простор творцам, и они есть.» «Науку не обуздать никаким властям» (гм-гм...). И вот: можно будет «методологию физики приложить к тонкостям морали» (упаси нас Бог...), «на этой подпольной культуре взойдёт, как на дрожжах, племя новых цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи».

И дальше — смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что «открыто выступать против условий, в которых мы живём... не всегда лучший способ». «Зло злом не исправишь», не помогут и не нужны «ни тайные заговоры, ни новые партии», нельзя призывать к революции.

С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит: падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казённую идею, а ни какой революционной деятельности. Это — не так, тут параллели не натянешь: и революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось в сотую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны: откинем мысль о революции, «не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа».

А — что же? Вот: «на первых порах больших жертв не предвидится» (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: «неприятие культуры угнетателей» и своё «культурное строительство» (ну, читать

Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать «усилия по распространению этой культуры среди народа», даже «активно нести эту культуру в народ» (методологию физики? гитарные песни?), «внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли», для чего искать «обходные способы». Такой путь «потребуется в первую очередь не отваги (в который раз этот бальзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей», «России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры». «Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке, — надо искать конкретные формы хождения в народ.» «И неужели мы, владея мировоззрением... (и т.д.)... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!» (Увы, увы, не в грамотности дело, на том и выдаёт себя заносчивая и подслепая образованщина, а — в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а — всех самоуверенных идеологов центральной образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, № 97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: «Как быть?». Ответ: «создавать тайные христианские братства», расчёт на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, № 99): «Думать!» — то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодилось в Самиздате журналы и журналы — «Луч свободы», «Сеятель», «Свободная мысль», «Демократ» — все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... К а к же? всё та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помнётся, это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там — с а м о пойдёт!

Да не пойдёт.

В тёплых светлых благоустроенных помещениях НИИ учёные-«тóчники» и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за «прислуживание режиму», привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за неё спросится историей. А ну-ка, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресеклась бы наука? Нет, империализм. «Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной», — уверяет Телегин, — да к а к же это себе вообразить? Полный рабочий день учёные (с тех пор как наука стала промышленностью — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают *вещественную* если не «культуру», то цивилизацию (а больше — вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют, и соглашаются, и повторяют, как велено, — и как же такая культура спасёт всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы *племя гигантов* хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик, — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать «отраслевую подкультуру» и ковать «могучую методологию».

А может быть и психиатры института Сербского той же «тройной моралью» живут и гордятся своею «внутренней свободой»? И прокуроры иные, и высокие судьи? — среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (например Л. Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. «Ohne uns!» — восклицает Телегин. Верно. «Не принимать культуру угнетателей!» — верно. Но: когда? где? и в чём не принимать? Не в гардеробной после собрания, а на собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в том кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там «культуру» отвергать? Никто и не навязывает «культуры», навязывают л о ж ь — и всего-то лжи нельзя принять, но — тотчас, в тот

момент и в том месте, где её предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — *топчас*, и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать «новую культуру». Отвергнуть — и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия увиливает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов*.

А кто не способен идти на риск — избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки.

6

И как же при этом центровая образованщина понимает своё место в стране, по отношению к своему народу? Ошибётся, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины — непристрашенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить «ленинскую культурную революцию» (разрушила старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917—1922 годов («временная диктатура в рамках демократии»). И: «деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов». *Его раболепие, не наше!.. А чем же центровая образованщина ведёт себя достойней так называемого «обывателя»?*

Даже предположения о какой бы то ни было *вине* перед народом за прошлое или за нынешнее, чем так мучилась предреволюционная интеллигенция, не возникает ни у кого из певцов образованщины, ни у порицателей её. Тут они все едины, и Алтаев: «Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией».

В сравнении себя с народом центровая образованщина все выгоды делает в свою пользу. Померанц: «Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, *весь народ сливается в реакционную массу*» (выделено мною. — А.С.). «Это — та часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... Интеллигенция — это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т.д.: фермент,двигающий историю.» Более того: «Любовь к народу гораздо опаснее (чем любовь к животным): никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет». Да просто: «Здесь... *складывается хребет нового народа*», «новое что-то заменит народ», «люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века»!!!

То же у Телегина, то же и Горский (ещё один псевдоним, Вестник, № 97): «Путь к высшим ценностям лежит в стороне от слияния с народом». На 180 градусов от того, как думали их глупые интеллигентные предшественники.

Заберём себе и религию. Померанц: «Крестьяне не совершенны в религии», то есть без философской высоты: «можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой... я не привязан ни к одному из этих слов», а просто сердечная преданность вере, её заветам и даже обрядам, фи, — крестьяне не совершенны в вере, «так же, как и в агрономии». (По крестьянской агрономии и хлебушек был, и почва не гибла, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь, против *почвенников* и вся дискуссия Померанца, его идеал — «люди воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии».) Зато «нынешние интеллигенты ищут Бога. Религия перестала быть приметой

* В Самиздате — текучи редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось: «первые вёрсты — бойкот, неучастие, игнорирование». Игнорирование — это обычный шиш, а вот *неучастие* — где же?..

народа. Она стала приметой элиты». То же и Горский: «Смешивать возвращение в церковь и хождение в народ — опасный предрассудок».

Один пишет в московском Самиздате, другие — в парижском журнале, друг друга, вероятно, не знают, а какое единство! — иголки не пробьёшь. Значит, не придумка одиночек, а *направление*.

А что ж порекомендуем народу? Вообще ничего. Никакого *народа нет*, в этом снова все они сходятся: «Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и *старая кожа, народ*, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли». «Для человечества патриархальные добродетели безнадежно потеряны», «мужик не может возродиться иначе как оперный». «Мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружить нас», «крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод». (Это пока мы ещё не упёрлись в технологический тупик.)

Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда — национальные судьбы? Обдуманно и это. Померанц: «Нации — локальные культуры и постепенно исчезнут». А «место интеллигенции — всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои».

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано всё наше поколение. И (если отвлечься — если *можно* отвлечься! — от национальной *практики* 20-х годов) в нём есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой взгляд достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, ещё с иллюзорной хваткой её за мифическое Британское содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров.

Наши авторы как будто должны бы это знать, но в рассуждениях о России игнорируют. Горский раздражён против «бессознательного патриотизма», против «инстинктивной зависимости от природных и родовых стихий», он запрещает нам безотчётно иррационально *просто любить* ту страну, где мы родились, но требует от каждого возвыситься до «акта духовного самоопределения» и лишь таким способом выбрать себе родину. Среди признаков, объединяющих нацию, *он не называет родного языка!* (уступая даже такому теоретику, как... Сталин), ни — *ощущения истории* этой страны. Лишь на подсобном месте признаёт «этническую и территориальную общность», а видит единство нации в религии (это верно, но религия может быть шире нации) и опять — в неопределённой «культуре» (не той ли, что у Померанца «переползает как змея?»). Настаивает, что существование наций противоречит Пятидесятнице. (А мы-то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, — как оно и живёт с тех пор.) С раздражением заклинает, что для России «центральной творческой идеей» должно стать не «национальное возрождение» (это *им* в кавычки взято, и нам запрещено такое глупое понятие), а «борьба за Свободу и духовные ценности». А мы по невежеству и противопоставления здесь не понимаем: как же иначе может духовно растерзанная Россия вернуть себе духовные ценности, если не через национальное возрождение? До сих пор вся человеческая история протекала в форме племенных и национальных историй, и любое крупное историческое движение начиналось в национальных рамках, а ни одно — на языке эсперанто. Нация, как и семья, есть природная непридуманная

ассоциация людей с врождённой взаимной расположенностью членов, — и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнейшем будущем видно будет, не нам.

К тому ж, конечно, и Померанц. Уверяет он нас, что «с позиции народности все кошки серы... Бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота». И опять мы по тупости не понимаем: а с *какой же* почвы можно бороться с *отечественными* пороками? — с интернациональной? Эту борьбу — латышскими штыками и мадьярскими пистолетами — мы уже испытали своими рёбрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно *самим*, а не кликать других мудрых себе в исправители.

Скажут: да что я прицепился к этим двум, Померанцу да Горскому, даже полутора (аноним за половину), с Алтаевым два, с Телегиным два с половиной?

А потому что — *направление*, все — теоретики и, видно, выставятся ещё не раз. Так на всякий будущий случай и поставим эти зарубки. Летом 1972 года, когда пылали русские леса по советскому бесхозяйству (у *наших* заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), — бодрячок, весельчак и атеист Семён Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это, мол, тебе, Россия, небесная кара за твои злодеяния! Прорвало.

Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдитесь по знатным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только «оперные», *народа* не осталось, отчего ж крестьянскими, христианскими именами и не покликать?

О, как по этому ломкому хребту пройти и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..

7

Однако картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а всё расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

«Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая.» «Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты — и масса.» «Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследия» да вбитое «в школе, в армии и по радио». «Где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной... Народа как великой исторической силы, станového хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте — больше нет.» «То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство.»

Мрак и тоска. А — близко к тому.

И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг друга два процесса. Один — всеобщий (но в России ещё бы долго он придержался, и, может, могли б мы его миновать) — процесс, как модно называть, *массовизации* (мерзкое слово, но и процесс не лучше), связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй — наш особый, советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое, этот действовал ещё решительней и необратимей.

Как же остаться было народу? Были насильственно выкинуты из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и прялки. Потом

миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены или взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых здоровых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. (И наша *интеллигенция* не дрогнула, не вскрикнула, а *передовая* часть её даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть, интеллигенция, в 1930-м, и за тот ли миг должен народ просить у неё прощения?) Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили её, как не бывало и в крепостное право, обезынтересили всё, чем мужик работал и жил, одних погнали на Магнитогорски, других — целое поколение так и погибших баб — заставили кормить махину государства до войны, всю великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч НИИ были достигнуты разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин — репродукторы, пуще того: поставили их на всех центральных столбах (по всему лику России и сегодня это бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак *культуры*, и пойдя заткни — будет антисоветский акт). И те репродукторы докончили работу: они выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их интеллигенция). Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где ж и кому осталось плясать и плести кружева?.. Ещё наслади лакомством для сельской юности серятину глупеньких фильмов (интеллигент: «надо выпустить, будут большие *тиражные*»), да то же затолкано и в школьные учебники, да то же и в книгах повзрослей (а к т о писал их, не знаете?), — чтоб и новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгладили всю историческую народную память (Александр Невскому без креста подняться дали, но чему поближе — нет), — и как же народу было сохраниться?

Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберёмся.

Народа — нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения??. И что ж за надрыв! — ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землёю, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный (разумеется, с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас — мужик «оперный» и уже не вернётся?..

Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мёртвое для развития?

Подменены в с е классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве л ю д я м можно не жить дальше? Мы слышим их устало-тёплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо; слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда ещё очень свежей; видим их живые готовые лица и улыбки их; испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные; наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?

Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, — но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образо-

ванщины? Потому что *народ* в массе своей *не участвует в казённой лжи*, и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытопанное в сердце место.

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твёрдо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности «привыкших и любящих думать, а не пахать землю», не по научности методологии, легко создающей «отраслевые подкультуры», не по отчуждённости от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре («всюду не совсем свои»). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для этой страны, где живёшь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центральной образованщины. Мечтал Достоевский в 1877 году, чтобы появилась в России «молодёжь скромная и доблестная». Но *тогда* появлялись «бесы» — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодёжь, — она и держала меня как невидимая плёнка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохраняют её завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом.

Это порочность метода: вести рассуждение в «социальных слоях», никак иначе. В социальных слоях получается безнадежность (как у Амальрика и получилось). Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила своё развитие в тёплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно: зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями. В частности, могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а всё же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то — психический, а не социальный, и, значит, вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. «Нынешняя масса — это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы.» С этим — не поспоришь.

Однако, упорно преданный интеллигентским идеалам, Померанц отводит эту роль стержня-веточки — только интеллигенции. По трудной доступности Самиздата надо цитировать обширно: «Масса может заново кристаллизироваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции». «Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша... Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ плох, я это знаю... но остальные ещё хуже.» Правда, «прежде, чем посолить, надо снова стать солью», а интеллигенция перестала быть ею. Ах, «если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания... Не предавать, не подвывать... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приго-

товиться обходиться честным куском хлеба без икры». Но: «Я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собою других»...

Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц выделяет и отграничивает по умственному развитию, лишь *желает* ей — иметь и нравственные качества.

Да не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, — что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение «интеллигентного ядра» в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность — да застучали пулемёты? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, — оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути «младовеховское»? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: «Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач страны». И С. Булгаков: «Образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волею».

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузнанно: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит — но жажда правды, но жажда очиститься душою и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и «неграмотные сектанты» и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещённый академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот — назад, в привычную багровую тьму этого полувека.

Сколько это — «стержень-веточка» для «кристаллизации» целого народа? Это — десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный *слой* — но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить «хребта нового народа». Нет — это придётся совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да ещё и каждому в леденящем одиночестве.

Обществу столь порочному, столь загрязнённому, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночно, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена — меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придётся потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но — апельсины, но — сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в «Круге первом» я обнажил «низкий уровень любви в народе» пословицею «для щей люди женятся, для мяса замуж идут», а мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео! Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций. Есть и такая:

Хлеб да вода — молодецкая еда.

Вот на этакой еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и её белым берёзкам. А любить их глазами — мало. Понадобится осваивать жестокий Северо-Восток — и придётся ехать нашим

излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы *мещанство* ехало вперёд. И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация, «только не вылазки в одиночку», тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. «Вновь открывать святыни и ценности культуры» придётся не эрудицией, не научным профилем, а *образом душевного поведения*, кладя своё благополучие, а в худых оборотах — и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, — с удивлением мы почувствуем рядом с собою так презираемых «полутрамотных проповедников религии».

Слово «интеллигенция», давно извращённое и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдётся, но не от «понимать, знать», а от чего-то *духовного* будет образовано то новое слово. Первое малое меньшинство, которое пойдёт продавливать через сжимающий фильтр, само и найдёт себе новое определение — ещё в фильтре или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, рождается в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовёт их без выдумок просто праведниками (в отличие от «правдистов»). Не ошибёмся, назвав их пока жертвенной элитой. Тут слово «элита» не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в неё отбор, никто не обжалует, почему его не включили: включайся, ради Бога! Иди, продавливайся!

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составит эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы всё просторней и легче — и всё больше частиц пойдёт через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный *народ* (это своё понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России.

И остаётся описать только устройство и действие фильтра.

8

Со стороны над нами посмеиваются: какой робкий и какой скромный шаг воспринимается нами как *жертва*. По всему миру студенты захватывают университеты, выходят на улицы, даже свергают правительства, а смиреннее наших студентов в мире нет: сказано — политучёба, пальто с вешалки не выдавать, и никто не уйдёт. В 1962 весь Новочеркасск бушевал, но в общежитии Политехнического института заперли дверь на замок — и никто не выпрыгнул из окна! Или: голодные индусы освободились из-под Англии безнасильным непровинением, гражданским неповиновением, — но и на такую отчаянную смелость мы не способны — ни рабочий класс, ни образованщина, мы Сталиным-батюшкой напуганы на три поколения вперёд: как же можно *не выполнить* какого-нибудь распоряжения власти? Это уж — самоубийство последнее.

И если написать крупными буквами, в чём состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

— то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это — жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас — не прихоть развратных натур, а форма существ-

вования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка её, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда давят безо лжи — для освобождения нужны меры политические. Когда же запустили в нас когти лжи — это уже не политика! это — вторжение в нравственный мир человека, и распрямленье наше — *отказаться лгать* — тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства.

Что есть жертва? — годами отказываться от истинного дыхания, заглывать смрад? Или — начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возьмётся вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?

О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что́ есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в каждой исторически конкретной диалектической обстановке и т.д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь *ты сам*, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образования, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один — ещё очень далеко от себя, другой — верёвкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу *ты*, — там и не подчиняйся лжи. От *той* части лжи отстранись, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спокойно жить, как прежде.

Что значит — не лгать? Это ещё не значит — вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: *не говорить того, чего не думаешь*, но уж: ни шёпотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами.

Области работы, области жизни — разные у всех. Работникам гуманитарных областей и всем учащимся лгать и участвовать во лжи приходится гуще и невылазнее, ложь наставлена заборами и заборами. В науках технических её можно ловчей сторониться, но всё равно: каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписки, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всём, что видим мы, слышим и читаем.

И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от неё. Тот, кто соберёт своё сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, — тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить.

Ян Палах — сжёл себя. Это — чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию. Одиночная — только войдёт в века. Но так много — не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придётся идти и под огнемёты, разгоняющие демонстрации. А всего только — дышать. А всего только — не лгать.

И никому не придётся быть первым — потому что «первых» уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит — тем более, да им-то прилично работать и уборщицами, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живёт — годами! И — жив. И — семья не вымерла. И — крыша над головой. И — что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие — разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадёжу: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют — и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжатием. Да, конечно! Это будет стоить оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь — не бросят. И не раздавят танком. И — крыша будет, и будет еда.

Этот путь — самый безопасный, самый доступный из всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он — и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, — как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови.

Но этот путь — и самый нравственный: мы начинаем освобождение и очищение со *своей души*. Ещё прежде чем мы очистим страну — мы очистимся сами. И это — единственно правильный исторический порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаёмся грязными?

Возразят: но как жаль молодёжь! Ведь если на экзамене по общественной науке не проговоришь обязательной лжи, — двойка, отчисление из института, и перебито образование и жизнь.

В одной из следующих статей нашего сборника обсуждается, так ли правильно понимаем мы и осуществляем лучшие пути в науке. Но и без того: потеря в образовании — не главная потеря в жизни. Потери в душе, порча души, на которую мы беззаботно соглашаемся с юных лет, — непоправимее.

Жаль молодёжь? Но и: чьё же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждём жертвенную элиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим? Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда.

Февраль 1974